



Народная письменность



ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Филолог

Родился в 1960 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ в 1983 году. Кандидат филологических наук (1989). Тема диссертационной работы: «Проблема историзма в творчестве Н. В. Гоголя 1820–30 годов». Преподавал в РГПУ им. А. И. Герцена с 1986 по 1998, в Университете педагогического мастерства с 1998 по 2004 год. Возглавлял лабораторию культурной антропологии УПМ и Педагогический музей (основанный в 1864). В 2006 -2009 годах был редактором журнала «Полярная сова», издаваемого в Сургуте. Как автор и редактор занимался выпуском серий книг «Народный архив» (2005 год, «Новое издательство», Москва), «Культурное наследие регионов России» (2008 год, издательский дом «ГАМАС», Санкт-Петербург). В настоящее время готовит серию «Народный архив» в издательстве Магнитогорского государственного университета.

Филолог «широкого профиля», фольклорист, культурный антрополог, историк повседневности XX века. В фольклорно-этнографических экспедициях по России провёл последние 32 года: Северо-Запад, Обь-Иртышский Север, Кольский полуостров. Сфера нынешних научных интересов: народная письменность и наивная литература XX века; «genius loci» («локальные мифы» и «локальные тексты»); история советской повседневности.

Мы открываем новую рубрику. XX век в России – век массового письма. Нет человека, который, так или иначе, не сталкивался бы с письменной деятельностью, вне зависимости от своей социальной, этнической, конфессиональной принадлежности и образования. Феномен народной письменности – частная переписка, записные книжки, дневники, воспоминания (написанные «для себя», а не «для печати»), альбомы, песенники и т. д. – наиболее ярко и адекватно представляют «человеческое» измерение истории XX века. Что он читал? Что хранил и коллекционировал? Какие песни, афоризмы, цитаты и анекдоты переписывал в свои альбомы? Что фиксировал в своих дневниках? О чём писал в письмах и открытках? Бытовая письменность (наряду с устными воспоминаниями) – это та призма, сквозь которую можно увидеть все стороны жизни человека: исторические события, природное окружение, мир вещей, социальную повседневность. И увидеть так, как видели люди того времени, в котором они жили.

Для советской эпохи народная письменность имеет особое значение, ибо она была неофициальной и находилась в сложных взаимоотношениях с идеологизированной официальной культурой. Мало того, огромный материк словесности просто не имел права на существование, его историко-культурная и эстетическая ценность отрицалась. В советское время все музеи и исторические издания пользовались в основном только официальной информацией. Такое положение вещей продолжается до сих пор. Пренебрежение народными (неофициальными) источниками ведёт к тому, что мы теряем целые пласты «другой» – запечатлённой простым человеком – отечественной истории.

Эта установка унаследована от советского времени и вовсе не всегда была свойственна отечественной культуре. Во второй половине XIX – начале XX века во всех губернских газетах (не говоря уже об изданиях губернских музеев, Архивных комиссий, Археологических комитетов) постоянно публиковались материалы, передающие «голоса» разных социальных и культурных сообществ: чиновников, купцов, учителей, ремесленников, священников, грамотных крестьян и т. д. В период расцвета краеведения, в 1920-е годы, вплоть до его «разгрома» в 1929 году, памятники народной письменности и устные источники были в центре внимания.

В 1930-е годы началось господство цензуры, инерция которой сохраняется до сих пор. В наше время речь не идёт об идеологической цензуре, а прежде всего о цензуре информационной, эстетической, стилистической. «Человеческие документы» с трудом пробиваются к читателям и посетителям музеев. Любой материал, присланный в газету (или краеведческое издание), подвергается жёсткой оценке с точки зрения некоего канонического представления об историческом источнике или художественном тексте. «Голоса» реальных людей и стоящих за ними социальных и культурных слоёв и групп нивелируются. Информация становится безличной и приглаженной. А мы потом удивляемся, почему столь слаб интерес к истории? Он слаб, прежде всего, потому, что к такой истории и не может быть никакого интереса. Человек живёт не среди официальных данных (цифр, дат и имён), он живёт в мире смыслов, воплощённых в вещах, поступках, жестах, житейских историях и т. д. История имеет смысл для человека только потому, что обладает «человеческим» измерением, а значит, помогает каждому обрести свою идентичность. Именно в этом и состоит великая ценность и великое значение для нас народной письменности.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕСПАМЯТСТВА: ПИСЬМЕННОСТЬ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

К 80-летию сплошной коллективизации

Термин «спецпереселенцы» был официально принят в 1930-е годы. Так называли крестьян, раскулаченных в период сплошной коллективизации, курс на которую был взят сталинским правительством в ноябре 1929 года, и сосланных в отдалённые районы Севера и Сибири. В тех местах слово «спецпереселенцы» — до сих пор в активном речевом обиходе, хотя мало кто (кроме специалистов) знает его в Европейской части России.

В 1930-е годы раскулаченные были «лишенцами» — людьми, лишёнными избирательных и других гражданских прав. Вплоть до второй половины 1980-х спецпереселенцы были фактически лишены права и на своё прошлое, т. е. рассказывать о нём и описывать его. Но даже когда об этом стало можно говорить, обнаружилась действенность другого фактора: в отличие от многих узников ГУЛАГа, принадлежавших к интеллигенции и более-менее профессионально владевших письменной речью, спецпереселенцы были простые крестьяне, часто полуграмотные, ещё чаще практически незнакомые с моделями литературного повествования. Идеологический за-

прет на воспоминания сменился культурным игнорированием «голосов», по-своему, вне норм и образцов, повествующих о своей судьбе.

Несмотря на основательную изученность документальных источников по истории спецпереселенцев, они продолжают быть «безмолвствующими», и не потому, что молчат о своей судьбе, а потому, что мы плохо слышим их «голоса». С точки зрения принятых культурных и эстетических норм они звучат слишком неправильно, вернее, непривычно.

Предлагаемый свод памятников письменности спецпереселенцев призван преодолеть нашу «культурную глухоту». В нём очень разные тексты — по степени владения письменной речью, характеру повествования, специфике оценки и осмысления. Широк и жанровый диапазон этих памятников: опись имущества, изъятого при раскулачивании; сборник частушек в самозаписи; разные виды жизнеописаний и даже стихотворная поэма. Предмет описания во всех этих текстах один — трагическая судьба спецпереселенцев. Но мне было важно показать и подчеркнуть другое — разнообразие «голосов», рассказывающих об одном прошлом.

Все три представленных автора в период коллективизации были сосланы на Обь-Иртышский Север (территории нынешних Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов Тюменской области). Это одна из основных территорий ссылки раскулаченных. По современным данным (Политические репрессии 1930–1940-х годов в воспоминаниях и личных документах жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Сб. док. // Сост. Е. М. Брагина, Ю. В. Лазарева, Л. В. Набокова. Ханты-Мансийск, 2002) на территории Остяко-Вогульского национального округа (ныне — Ханты-Мансийский) находилось 6459 семей спецпереселенцев, 30243 человека, расселённых в 56 новых посёлках.

1. «О ЖИЗНИ ДОРОГОГО БРАТА В СТИХАХ Я ВЫРАЗИТЬ ДОЛЖНА...»

Жизнеописания Марии Михайловны Беловой

Белова Мария Михайловна (1926 г. р., в девичестве — Рязанова) живёт в поселке Сибирский, Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Родилась в селе Калмык-Миасс, Чучанского района, Курганской области. В 1930 году семья Рязановых была раскулачена и сослана на Обь-Иртышский Север.

Мария Михайловна — поэтесса, признанная сообществом посёлка Сибирский. Как и у многих «наивных» поэтов, основная её жанровая форма — «стихи на случай»: дни рождения детей и родственников, государственные праздники, юбилейные даты в жизни посёлка. Для публикации было выбрано обширное (141 стих) поэтическое жизнеописание. Родилось оно тоже, очевидно, из ситуации «стихов на случай» — по поводу юбилея брата. В ходе беседы с М. М. Беловой выяснилось, что «поэме» предшествовал прозаический текст, который она написала ко Дню памяти жертв политических репрессий. Тексты во многом параллельны друг другу, поэтому я счёл нужным опубликовать их в одной подборке.

Интересно, что в кругу пожилых женщин посёлка Мария Михайловна знаменита другим своим поэтическим сочинением — стихотворным переложением сериала «Просто Мария», состоящим из пятидесяти четверостиший. Текст свидетельствует не только о «гипнотическом» воздействии сериалов на массовое сознание, но и является уникальным образцом новой наивной поэтической культуры:

*Вот Мария началась,
Без начала и конца.
Вот влюбляется Маэстро,
Ум теряя без конца.*

Излюбленный наивными поэтами жанр стихотворной хроники здесь возникает не на основе собственной биографии, а на материале мелодраматических перипетий «мыльной оперы», которым, кстати, Мария Михайловна следует неотступно и с поразительной фабульной точностью. Собственно, главная цель авторов наивных хроник — точно передать историю, но в стихах. Документальной установке приносятся в жертву и стихотворный размер, и грамматика, и стиль:

*А Лорена, вновь переодевшись,
Отомстит Марии навсегда,
Пистолет она тут зарядила,
В караул становится туда.*

И в этом отношении стихотворное жизнеописание брата и переложение сериала — образцы эпического жанра (наивные поэмы). Переложение было написано М. М. Беловой сразу по следам показа сериала «Просто Мария» (фильм, наряду с «Рабыней Изаурой» и «Богатые тоже плачут», входил в первую волну сериалов, появившихся в России). Как известно, телезрители старшего поколения постоянно пересказывают друг другу и обсуждают очередные коллизии сериала. Переложение М. М. Беловой стало своеобразной стихотворной копией фильма для жителей посёлка Сибирский. После того, как сериал перестали показывать, деревенские женщины иногда приходили к Марии Михайловне, слушали её переложение, вспоминали и обсуждали историю «просто Марии». Кстати, и в июле 2001 года именно соседки попросили М. М. Белову прочитать своё произведение участникам экспедиции для аудиозаписи и с удовольствием и заметным эмоциональным участием прослушали хорошо знакомый им текст ещё раз.

Прозаический текст жизнеописания написан М. М. Беловой по «социальному заказу» — он и был ею прочитан на поселковом вечере, посвящённом памяти жертв политических репрессий. Поселок Сибирский — по происхождению спецпереселенческий. Перспектива публичного чтения «истории» своей семьи, вне сомнения, сказалась на содержании и стиле жизнеописания. Текст лишён этнографических и бытовых деталей, «случаев» из жизни и ярких «точечных» воспоминаний. Он очень похож на огромное количество подобных текстов, появившихся в постперестроечное время в местных газетах и краеведческих изданиях.

Собственно говоря, именно таким стилем — безличным и приглаженным, с чётко выраженным превосходством общего (государственного) над личным — позволялось обыкновенным людям в советское время рассказывать о своей жизни. Другое дело, что в ту эпоху нельзя было вообще говорить о раскулачивании и ссылке. Перестройка с её гласностью на какой-то период времени открыла возможность рассказывать о своей судьбе по-своему и своим «голосом», тем более о вещах, о которых не существовало официальных моделей описания (раскулачивание, репрессии, ГУЛАГ).

Но... довольно скоро опять воцарился мемуарный стиль советского извода. Ему и следует М. М. Белова. Не забываем, что она — человек, полностью сформированный в советскую эпоху; раскулачивание пришлось на совсем малый её возраст, и её восприятие событий, конечно, иное, чем было у родителей, людей другого поколения и других (ещё досоветских) традиций. Устные воспоминания о спецпереселенцах могут быть записаны и сейчас только от поколения середины 1920-х годов, то есть от людей, которые попали в ссылку в младенческом или совсем в детском возрасте. И их восприятие событий 1930-х годов во многом обусловлено последующим советским воспитанием. «Голоса» людей, которые в сознательном возрасте пережили раскулачивание, можно услышать только из немногочисленных памятников письменности, оставшихся от них: письма, записи, дневники. Но в ту эпоху люди боялись что-либо писать, а до перестройки дожили немногие. Вполне возможно, кстати, что Мария Михайловна зачитала нам текст по уже отредактированному местными краеведами варианту.

В любом случае, черты господствующего сейчас в местных СМИ и краеведческих изданиях (а значит, официально признанного) дискурса воспоминаний о спецпереселенцах отчётливо видны в тексте М. М. Беловой. Описание жизни ведётся в сухом перечислительном ключе (без деталей и отступлений), причём внимание не останавливается на событиях частной жизни — значимы только те факты, которые производны от государственной, «большой» истории (пусть и на локальном уровне). При этом изобилие неопределённо-личных конструкций (без указаний субъекта действия) создаёт почти символическую картину беспомощности маленького человека перед некоей безличной властью: «выселяют», «отправляют», «везут», «выгрузили», «расселили» и т. д.

Характерна оценка причин трагедии спецпереселенцев (в частности, семьи Рязановых). И после революции, и в момент коллективизации разоряют хозяйство и раскулачивают «местные власти», а не советский режим в целом: *«После революции в семнадцатом году наше хозяйство было разорено местными властями»; «Но с приходом коллективизации местные власти признали нашу семью зажиточной и вторично всё нажитое хозяйство отобрали — раскулачили»* (здесь и далее — курсив мой. — О. Н.). Именно злой волей местных властей (а то и личной завистью соседей) чаще всего объясняют раскулачивание представители младшего поколения спецпереселенцев (рождения второй половины 1920-х годов).

Эмоциональные оценки тоже практически не проникают в этот мемуарный дискурс. М. М. Белова лишь один раз это себе позволяет: *«Жить*

в таких условиях было невыносимо». Финал текста Марии Михайловны тоже в высшей степени характерен для публиковавшихся воспоминаний спецпереселенцев. Право рассказать о своей жизненной трагедии, согласно какому-то глубинному императиву советского сознания, обязательно должно быть подтверждено заслугами перед государством. Поэтому авторы перечисляют свои награды, трудовой стаж и т. д., и т. п. Казалось бы, М. М. Белова пишет о достижениях своей семьи, но в характере описания отчётливо видна установка на статусность этих достижений с точки зрения государства: «Только в нашем посёлке династия Рязановых – пять поколений. Наши дети и внуки смогли закончить высшие заведения. В династии Рязановых есть: инженер-механик, электрики, механизаторы, медики, учителя, бухгалтера и ряд других профессий».

Кстати, в ходе беседы во время экспедиции Мария Михайловна сообщила результаты подсчёта общего трудового стажа своей семьи, назвав трёхзначную цифру, к сожалению, вылетевшую из моей памяти. Сама возможность такого подсчёта (по сути, абсолютно бессмысленного) проявляет глубинную закономерность сознания советского человека: ценность человеческой жизни определяется только её официальным признанием, возможным только в случае заслуг перед государством.

Как ни странно, поэтическое жизнеописание М. М. Беловой оказалось гораздо интереснее и богаче прозаического по событийной насыщенности и культурной информативности. Так, например, пути ссыльных от своей родины до Самарова (русское поселение на Обь-Иртышском Севере, пристань на реке Иртыше, основано как Самаровский Ям в 1637 году) в прозаическом тексте посвящено всего несколько строк, в поэтическом – треть «поэмы» – сорок пять строк. В устных воспоминаниях спецпереселенцев именно путешествие «не по своей воле» часто оказывается на первом плане. Для «осёдлого» сознания крестьян, связанных прочными связями с землёй, которая их кормит, «путь в никуда» был настоящей духовной катастрофой, не говоря уже о физических страданиях и выживании на грани смерти. Это трагическое ощущение, несмотря на всю поэтическую неумелость М. М. Беловой (а может, и благодаря ей), дорастает в стихах почти до символического уровня. Лейтмотивом становится состояние непредсказуемости и неизвестности, обусловленное подчинённостью человека некоей надличностной роковой силе:

*И случилось же в жизни такое
(Не подумали б мы никогда) –
<...>
После этого всех повезли нас.
Куда? И зачем? Для чего?*

Обстоятельства пути и разгул природных стихий усиливают это состояние, лишая человека не только возможности что-то узнать и понять, но даже просто видеть:

*Погрузили в телячьи вагоны,
И сидим – не видать ничего.
<...>
Обозы всё шли вереницей,
Ни края, конца не видать.
Не видал и дороги возница,
Кони пытались дорогу искать.*

Само косноязычие наивного поэта кажется чуть ли не самой адекватной формой выражения переживания этого пути в неизвестность:

*Пароход нагружен до предела,
Было что-то такое тогда...
Долго плыли, считая недели,
Видны были одни берега.*

Но «поэма о брате» изобилует и реалиями повседневности, казалось бы, более приличествующими прозе. Ссылных везут не в «кошёвках» (сибирское название выездных саней), а в хозяйственных плетёных корзинах. Дети обмораживают колени, потому что раскулаченным не разрешили брать с собой тёплую одежду. В Самарове все спецпереселенцы живут в одном доме (указан даже бывший хозяин — купец Гисман), и на каждого приходится два метра и т. д.

По тексту М. М. Беловой рассыпано множество таких деталей, складывающихся в топику спецпереселенческой жизни. Даже самодеятельная поэзия обладает высокой степенью концентрации, и для раскрытия этих культурных фактов необходимо обращение к контексту (устным воспоминаниям, документам и т. д.). По собственному исследовательскому опыту скажу, что наивные тексты выдерживают подобную верификацию: заключенная в них историко-культурная информация всегда оказывается достоверностью, а не плодом поэтического вымысла.

В наивной эпической поэзии, как и в жизнеописательной прозе, доминирует мемориально-документальное начало. Соответственно, и основным жанром становится стихотворная хроника (или, если быть точнее в терминологическом смысле, — жанр «хрониката»). Для этого жанра главное — максимально точно воплотить то, что хранится в памяти. Наивным хроникерам это удаётся во многом, благодаря негативным характеристикам их поэзии: плохое знание норм кодифицированного литературного языка, недостаточное владение стихотворной техникой, поэтическое косноязычие. Если профессиональный поэт всегда склонен пожертвовать «правдой факта» во имя «правды поэзии», наивный сделает прямо наоборот: пренебрегая размером, рифмой, образной связностью, он будет всегда следовать за своей памятью, дотошно описывающей события, действующих лиц, предметы.

Поэтому очень часто при крайне низких поэтических достоинствах наивных хроник они могут рассматриваться как значимый историко-

культурный источник. Такова ситуация и со стихами М. М. Беловой. Они находятся вне зоны эстетической оценки, и поэтическая критика здесь неуместна. Мария Михайловна относится к той категории наивных авторов, которые практически не знакомы с поэтическими образцами, а соответственно, им и не на что опираться в своём сочинительстве. Один красноречивый пример: М. М. Белова абсолютно алогично (и по смыслу, и синтаксически) сравнивает брата с «русской женщиной» Некрасова:

*Ты работал везде безотказно,
Куда б ни послали тебя.
Как женщину в русских селеньях
Прославил Некрасов тогда.*

Над этими строками можно улыбнуться как над наивным «ляпом». Но, кроме очередного подтверждения поэтического неумения, они говорят о многом. Во-первых, о поэтическом кругозоре простых людей советского времени, который в основном складывался из стихов школьной программы. Во-вторых, о явном предпочтении наивных стихотворцев: смысл дороже образной цельности и гладкости стиля. И, в конце концов, об определённой отваге поэтов-хроникёров, дерзнувших (в случае М. М. Беловой) «прославить» брата-спецпереселенца так же, как великий Некрасов «прославил» «женщину в русских селеньях».

У жанра хрониката есть ещё одна особенность. В поэтическом фонде, доступном для наивных авторов, практически нет образцов «описательной» поэзии. Где им добыть Гесиода или Вергилия? Да и для того, чтобы прочесть, придётся перестать быть «наивным». Поэтому и пишут хроникёры без поэтических примеров, с нуля. Интересно, что самодеятельные авторы, вполне поднаторевшие в сочинении лирических стихов по образцам (например, советской песни), обращаясь к жанру хрониката, пишут точно так же, как Мария Михайловна. Исключительность личной судьбы и памяти о ней даёт право на исключительность поэтической хроники. Собственно, с декларации императива «должна писать» М. М. Белова и начинает свою «поэму» о брате:

*Не поэтесса я, как вам известно,
Прошу, простите вы меня.
О жизни дорогого брата
В стихах я выразить должна.*

Кстати, в соединении самоуничужения («не поэтесса я») и долженствования отчётливо угадывается позиция средневекового автора, типологически сходным образом начинавшего жизнеописание святого.

Остаётся вопрос: почему «в стихах я выразить должна»? Почему столь часто наивные авторы предпочитают поэтическую форму изложения воспоминаний прозаической? Неосознанное ощущение сакральности поэтической речи? Неотрефлексированное понимание большей свободы

поэзии? Исходя из последнего предположения, можно истолковать параллель двух текстов М. М. Беловой: прозаического описания, подчиненного цензуре (не важно, внутренней или внешней), и поэтического, явно более последовательно воплощающего мемориально-хроникальную функцию. Впрочем, иерархия поэзии и прозы отчётливо осознавалась и в традиции русской народной словесности: «Сказка — складка, песня — бль».

Культурный фундамент наивной поэзии основателен, историко-культурное значение неоспоримо, только вот зачисленность по художественному ведомству обрекает огромный материк словесности на бесправное существование и даже уничтожение. Немалое количество наивных текстов, присылаемых на районные конкурсы поэзии, отмечают экспертами-критиками и просто оправляются в мусорную корзину. И это ещё одна трагедия: наивные авторы склонны присылать на конкурс единственные экземпляры своих сочинений.

Поэмы Марии Михайловны не прошли бы «прокрустово ложе» даже самой мягкой и снисходительной литературной критики, в лучшем случае над ними бы посмеялись, не заметив ни яркого образца спецпереселенческих поэтических жизнеописаний, ни, тем более, уникального феномена субкультуры зрителей телесериалов (в данном случае — «Просто Марии»).

Тексты М. М. Беловой * Прозаическое жизнеописание

Наш прадед, Рязанов Николай Петрович, хрестьянской веры, выходец из Рязанской губернии. Задолго до революции, объехав половину России, а за тем и Урал, облюбовав пустынное место для занятия сельским хозяйством, переехал со своей семьёй на красивые берега речки Миасс, в двухстах километрах от города Челябинска. С тех пор пошло поколение Рязановых.

Будучи молодым, наш отец взялся за сельское хозяйство; до революции имел тридцать десятин земли, десять лошадей, тринадцать голов рогатого скота. После революции в семнадцатом году наше хозяйство было разорено местными властями: отобран был весь запас хлеба, отобран скот. В двадцать первом году был страшный голод, но наша семья выдержала все испытания и всё равно восстановила своё хозяйство. И к тридцатому году имели кое-какие пашни, лошадей... своя молотилка и так далее.

Но с приходом коллективизации местные власти признали нашу семью зажиточной и вторично всё нажитое хозяйство отобрали — раскулачили. И полунагих, полуголодных выселяют из дома. И семью из девяти человек, в том числе семь детей, отправляют в вагонах... везут нас в вагонах. До Тюмени везли нас в вагонах, до Тобольска — лошадьми. А весной... — был

* Тексты публикуются по расшифровке аудиозаписи, сделанной участниками экспедиции «Славянский ход — 2001» в июле 2001 года в пос. Сибирский. М. Белова наговаривала тексты по рукописи. При публикации учтены грамматические особенности, знаки препинания расставлены согласно современным пунктуационным правилам.

такой пароход «Казанец» — долго плыли по Иртышу, и выгрузили нас в село Самарово, где у подножья горы красовалась с позолоченными куполами красивая церковь. Здесь нас всех расселили на квартире. В нашей семье было трое рабочих рук: отец, два сына. Мать нанималась стирать бельё, старших сестёр отдавали в няньки, трое совсем маленькие были. Мужчин всех отправляли на раскорчёвку для строительства посёлка. Также в Самарово строили консервную фабрику, и для машинного отделения требовался кирпич — взять его было негде. И вот местные власти подобрали спецпереселенцев, молодых парней в числе двух Рязановых — братьев Виталия и Николая. Послали разбирать церковь. Приказ был такой: не сломать ни одного кирпичика. Посменно трудились, чтоб снять колокольню, а она — как замороженная — стоит и стоит. С большим трудом преодолели церковь, и все тяжёлые работы легли на плечи спецпереселенцев.

И вот в 1934 году был набор для строительства подсобного хозяйства посёлка — Реполовский совхоз. И опять наша семья попала в новую выселку. На подводах в зимнее время с небольшим скарбом нашу семью (в составе семи человек) привезли в село Реполово. Расселили всех по квартирам. Мужчин всех послали на раскорчёвку для строительства нового посёлка.

Построив барак для жилья, перевезли свои семьи. Начали раскорчёвку — и всё ручным трудом. Семьи жили в одном бараке, спали на общих нарах; посреди стояла одна железная печка для приготовления пищи. Жить в таких условиях было невыносимо. Каждая семья стала копать землянки, хотя бы чтоб отдохнуть после десяти-, двенадцатичасового рабочего дня. Постепенно обустраиваясь, завели лошадей, крупный рогатый скот, свиней. Стали пахать, сеять, за скотом ходить... построили баню. Дети стали учиться. Жизнь, казалось, пошла своим чередом.

Но всю страну охватила новая беда — война с фашизмом, война 1941–1945 годов. Вдобавок в сорок первом году — наводнение. Посёлок был затоплен, остались без картошки — семян. Всех мужчин, молодых парней взяли на фронт, в посёлке остались старики, женщины, дети. Многие не вернулись с фронта. Оставшиеся жители посёлка трудились изо всех сил. Но и эти испытания выдержали, работали под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!».

Но жизнь продолжалась, хотя и были огорчения: нечего было поесть, одеть, — но была своя радость, был праздник. Радовались рождению дочери или сына — всё это было, было. По отношению к главе нашего семейства, отцу Михаилу Андреевичу: имел семерых детей, внуков — двадцать шесть, правнуков — сорок шесть, и праправнуков — семь человек. Только в нашем посёлке династия Рязановых — пять поколений. Наши дети и внуки смогли закончить высшие заведения. В династии Рязановых есть: инженер-механик, электрики, механизаторы, медики, учителя, бухгалтера и ряд других профессий.

Поэтическое жизнеописание

Стих посвящается дорогому брату
Николаю Михайловичу

*Не поэтесса я, как вам известно,
Прошу, простите вы меня.
О жизни дорогого брата
В стихах я выразить должна.*

*Родился ты в тяжёлое время,
И страна на распутье была,
А мамаша тебя так любила
И любимцем тебя назвала.*

*И случилось же в жизни такое
(Не подумали б мы никогда) –
Всё, что нажито, всё трудовое
Конфисковано было тогда.*

*После этого всех повезли нас.
Куда? И зачем? Для чего?
Погрузили в телячьи вагоны,
И сидим – не видать ничего.*

*Привезли нас в Тюмень,
Мы узнали, что на Север хотят отправлять:
Заселять бесконечные дали,
Вековую тайгу корчевать.*

*А в Тюмени подали подводы –
Ни кошёвки для ссыльных людей,
А плетёные были корзины,
Что в хозяйстве возили мякину
Да картошку с соседних полей.*

*Четырёх посадили в корзину,
Мама пятая с ними была.
Я, папаша, сестрёнка чуть младше –
В дальний путь за обозом пошли.*

*Добрались мы до первой деревни.
Был приказ лошадей накормить.
Обморозили все мы колени,
Потеплей было нешто одеть.*

*Отдохнули, поели, что было,
Лошадей обменяли у всех,*

*А тучи на небе всё плыли,
Метель поднималась на грех.*

*Обозы всё шли вереницей,
Ни края, конца не видать.
Не видал и дороги возница,
Кони пытались дорогу искать.*

*Наконец добрались до Тобольска,
Увидели стены кремля,
Могучую степь с обелиском,
В честь погибшего здесь Ермака.*

*Прожили здесь мы недолго
На квартирах и разных местах.
Когда стали ходить пароходы,
На «Казанце» отправили нас.*

*Пароход нагружен до предела,
Было что-то такое тогда...
Долго плыли, считая недели,
Видны были одни берега.*

*Вот пристал пароход наш «Казанец» –
Самарово пристань была.
Пред нами гора показалась,
Хвоёй опахнуло слегка.*

*Никто не встречал со цветами,
И радости не было той...
Дорогими не были гостями,
Выгружались с печалью одной.*

*Расселили нас всех в одном доме,
Где раньше купец Гисман жил.
Жилплощадь – два метра, и нары вплотную
Для отдыха были тогда.*

*Все старшие стали работать:
Кто рыбачить, кто лес корчевать...
А сестрёнки детей малых нянчить,
Что хозяйки пришли нанимать.*

*А нас молодых подобрали
Самаровску церковь ломать.
Кирками мы били неделю,
И шага нельзя отступить.*

*Сколь сил мы тогда положили,
Кое-как удалось наконец,
Чтоб кирпичик был цел, невредимый,
Колокольню убрали напрочь.*

*И работал ты на пилораме,
И брёвна тяжкие катал,
И вот в набор, в совхоз «Сибирский»,
С семьёю ты сюда попал.*

*Целину в совхозе поднимали.
Ручным трудом и лошадьми пахали.
В землянках жили, на нарах спали.
После работы усадьбу корчевали.*

*Воспитал ты жену и семёрку.
В тяжкие годы войны
Отопять было нечем хатёнку,
И валенки были одни.*

*Заглянула война в каждый домик,
Обойти никого не могла.
Каждый думал: продлится хоть годик,
Но не годик продлилась она.*

*Все четыре она захватила –
Наилучшие годы твои.
Устоял ты, и силы хватило,
И работал всегда за двоих.*

*Ты работал везде безотказно,
Куда б ни послали тебя.
Как женщину в русских селеньях
Прославил Некрасов тогда.*

*Домой приходил ты уставший,
А дети всё ждали тебя:
Печь истопили пожарче,
Картошки сварили сполна.*

*Хлеба не ели досыта,
Картошка заменой была.
Водой не топило – спасибо! –
За счастье считали тогда.*

*Когда наступало лето,
На душе становилось теплей.*

*Но всё не кончалась эта...
У всех разговор лишь о ней.*

*О войне, о разрухе, о голоде,
А письма всё с фронта пошли,
Что гонят врага в своё логово.
Немного осталось: терпи!*

*Детей оставляли одних вы,
Не было яслей тогда,
А сердце болело:
Ох, как бы не случилась какая беда!*

*Вот прошли эти трудные годы,
И дети твои поднялись.
Напутствие дал, ты всем строго,
Сказал всем то слово: трудись!*

*И в школе учились неплохо,
Старались дорогу пробить.
Кто медиком, кто инженером –
Так жизни решили служить.*

*А теперь уже все поженились,
И внуки, и внучки пошли,
А наше желание такое:
Навещали чтоб чаще они.*

*Чтоб было для вас только в радость,
Не знали обид никогда,
Бодришь, не сдавайся, а старость
Отступить на десяток должна.*

*Спасибо за счастье и радость,
За гордость отцов, матерей,
За обеспеченную старость
От государства и детей.*

2. «А МНЕ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ МЫ ОБОГНАЛИ СОЛНЦЕ...»

Рукопись Марии Семёновны Пестряковой

Мария Семёновна Пестрякова (1925 г. р., в девичестве — Бадьина) живёт в посёлке Берёзово (основан в 1593 г.) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Родилась в станице Наваринской Агаповского района Челябинской области. В январе 1930 года казачья семья Бадьиных была рас-

кулачена и сослана на Обь-Иртышский Север. М. С. Пестрякова закончила педагогическое училище в Салехарде; всю жизнь работала в системе образования (в основном — учительницей начальных классов).



М. С. Пестрякова. 1960-е годы

Мария Семёновна — человек глубоко верующий, хорошо знающий православную книжную традицию, молитвенница. Ещё в конце 1970-х — начале 1980-х годов М. С. Пестрякова слушала «по вражьи голосам» («Голос Америки») православные передачи. Начало духовной библиотеки положили книги, присланные из США по её просьбе. В период возобновления приходской жизни в посёлке Берёзово в 1990-е годы Мария Семёновна была её лидером. Впоследствии по разным причинам она отошла от организационных функций, но остаётся, наверное, наиболее значимым духовным авторитетом в Берёзове.

Публикуемая рукопись была составлена Марией Семёновной в начале 2000-х годов по просьбе внучки, которая даже специально для этого подарила бабушке тетрадь. Исследователи народной письменности отмечают, «что импульсом к сочинительству или поддержкой в творческих начинаниях для многих <...> „наивных“ авторов послужило общение с людьми из мира „большой культуры“, исходящий от них „культурный заказ“, заявления о востребованности продуктов творчества этих авторов» (Лурье М. Л. О феномене «наивного» сочинительства // «Наивная литература»: Исследования и тексты. М., 2001). Подобная установка сформулирована и внучкой Марии Семёновны: «*Ведь каждая жизненная история — это большая ценность и важный урок для потомков*». Следует заметить, что эти слова вполне соответствуют современному методологическому принципу «тотальной» истории.

Рукопись М. С. Пестряковой не представляет собой единого и сплошного «потока воспоминаний», скорее является сводом «человеческих документов». За письмом внучки следуют генеалогические сведения, причём Мария Семёновна восстанавливает семь колен родословной Бадьиных по мужской линии. В этой генеалогичности мышления явно проявляется казачья традиция.

Следующую часть рукописи М. С. Пестрякова постфактум характеризует как «Этапы большого пути» в хронологическом порядке». Широко распространённая формула, восходящая к известной песне «Каховка», звучит у Марии Семёновны с оттенком трагической иронии. За клише советского героизма скрывается другой героизм — выживших в нечеловеческих условиях спецпереселенцев. Обычная для официальных автобиографий хронология (где, когда учился, работал, проживал) чётко выдерживается лишь в последней части «Этапов большого пути». «*Все годы наших скитаний*» М. С. Пестрякова описывает под знаком иной хронологии: постоянных передвижений «*не по своей воле*» (на поездах, пароходах, катерах, плашкоутах, плотах, на санях и т. д.); болезней и несчастных случаев; чередований холода и тепла, голода и еды.

История *«экстремальной пищи»* — особая и существенная грань истории спецпереселенцев, о чём свидетельствуют и устные, и письменные их воспоминания. Так и в рукописи М. С. Пестряковой рассеяна целая гастрономическая энциклопедия ссылки: *«хлеб с добавлением древесной коры и толчёных рыбьих костей»*; *«толстые блины, очень невкусные»*, из овсяной крупы; ломтики картофеля, которые ребятишки жарили, прилепляя их к бокам печки — *«буржуйки»* и т. д. Появление нормальной еды на этом фоне становится значимой биографической вехой и зачастую привязывается к датам, или, вернее, способствует их запоминанию: родители отца высылают денег на покупку коровы; мать в 1935 году разрабатывает огород и сажает картошку; отец летом 1936 года убивает лося; *«мама купила нам белого хлеба, и мы с удовольствием ели его с простоквашей»* и т. д.

Следующую часть рукописи Мария Семёновна предваряет словами: *«Дальше, если будет на то воля Божия, последуют подробности. Сразу оговорюсь, что писать буду не только о себе, но и родных и близких мне людях, не соблюдая хронологии»*. Характерна оговорка: согласно некоему императиву советской эпохи на право исторического факта может претендовать только хронологизированная информация. Собственно, этому императиву Мария Семёновна и отдаёт дань в первой части рукописи.

В «подробности» включено множество записей разного жанра: яркие детские воспоминания; семейные истории и предания; «случаи» из жизни и т. д. Все они изобилуют этнографическими сведениями; уникальными повседневными реалиями; «сильными» деталями и знаковыми словами, зачастую составляющими интригу рассказа:

«Запомнилось, как ехали от Тюмени до Тобольска на лошадях. Я сидела со стариками Арзамасцевыми. Папа в сером драповом пальто иногда подходил к нашим саням и вынимал из-за пазухи кусочек хлеба и давал мне „гостинец“ от зайчика или от лисички».

«По рассказам мамы, она с четырёхмесячной Клавой сидела на возу с поклажей. Чтобы она не упала, её привязывали к саням верёвками. А мне хотелось, чтобы мы обогнали солнце, но этого тоже не случилось».

Именно на подобных «новеллистических» принципах построены и устные воспоминания. Кстати, от Марии Семёновны удалось записать параллельные записям устные рассказы.

Особой значимостью для М. С. Пестряковой в воспоминаниях «подробностях» обладает православная традиция. Она вспоминает о набожности деда, о праздничном обиходе Наваринки и т. д. Христианские легенды оказываются вплетёнными в жизнеописание, определяют перипетии семейной судьбы: семейное предание о встрече деда со странником (Николаем Чудотворцем); случай о возмездии за поругание иконы, которой благословляли родителей и др. Даже широко распространённые рассказы о знамениях конца света (*«Железные корабли будут летать, всё небо будет опутано железными тенетами»*) оказываются частью семейного предания: об этом рассказывала бабушка матери — Ольга, совершившая паломничество в Иерусалим.

С одной стороны, внимание к христианским мотивировкам обусловлено набожностью Марии Семёновны. С другой стороны, возможно, и её глубокая вера во многом предопределена семейной традицией и семейным преданием.

Очевидно, через некоторое время после окончания собственно жизнеописания (дата 12. 02. 04) М. С. Пестрякова вписывает в тетрадь тексты двух писем (семейных реликвий): деда — Бадьина Якова Кирилловича и отца — Бадьина Семёна Яковлевича. Но и не копии писем завершают рукопись, а записи «перлов» (курьёзов и «ляпов») детской речи. Возможно, Мария Семёновна внимательна к этому феномену как учительница начальных классов. Думается, что и легендарная в советские времена книга К. И. Чуковского «От двух до пяти» ей тоже известна. Но интерес к детским «перлам» не только свойственен профессиональной среде детских писателей или учителей, но и является ярким проявлением традиции семейного коллекционирования образцов детской речи. В семейной устной традиции эти коллекции постоянно актуализируются. Зачастую они приобретают и письменную форму: в записных книжках, дневниках, письмах.

Соединение в одном текстовом пространстве разножанровых записей — обычное явление для народной письменности, тяготеющей к созданию жизнеописательных «сводов»: автобиографических, семейных, общедеревенских. Исключительность рукописи М. С. Пестряковой — в отчётливом звучании её личного живого «голоса» на всём протяжении текста; в хорошо заметной рефлексии (не столь частой в народных мемуарах) и в явных новеллистических достоинствах повествования. Мария Семёновна — замечательный рассказчик и удивительный собеседник, умеющий слушать другого, сомневающийся и размышляющий. Могу только пожалеть, что не было возможностей опубликовать вместе с рукописью расшифрованные тексты её устных воспоминаний и наших бесед с ней.

Рукопись М. С. Пестряковой

Жизнеописание публикуется по цифровой копии рукописи, сделанной в апреле 2006 года в ходе историко-этнографической экспедиции Ханты-Мансийского государственного музея Природы и Человека.

Дорогая баба Маша!

Первейшая, главнейшая и единственная моя к тебе просьба, чтобы эта книга (тетрадка) была заполнена строками твоих воспоминаний о наших предках, а может, и о других близких тебе людях. Ведь каждая жизненная история — это большая ценность и важный урок для потомков.

Баба, очень тебя прошу, напиши всё, что ты помнишь о своём детстве, о ссылке, семье, о бабушке, Юриной семье, о нём и о своей работе в школе и т. п.

Заранее благодарна, шлю низкий поклон, целую, обнимаю, скучаю и люблю. Оля.

16/ 11/02. [Подпись]

Мои дед и бабушка по отцу.

Бадьины: Яков Кириллович, 5/XI-1862 — 27/XII-1940.

Дарья Ивановна (ур. Штинова), 14/III-1864 — 8/II-1947.

Дед и бабушка по матери.

Пономарёвы: Роман Георгиевич, 30/XI-1863 — 6/XI-1924.

Наталья Фёдоровна (ур. Макарова), 8/IX-1863 — 25/V-1921.

Родители.

Бадьины: Семён Яковлевич, 16/XII-1894 — 2/I-1954.

Глафира Романовна (ур. Пономарёва), 9/V-1894 — 31/VII-1992 г.

Бадьины — мужская линия: Семён Яковлевич, Яков Кириллович, Кирилл Данилович, Данила Абрамович, Абрам Иванович, Иван Степанович, Степан.

Мои родители Бадьины Семён Яковлевич и Глафира Романовна были уроженцами станицы Наваринской Агаповского района Челябинской области. Их основное занятие — земледелие и скотоводство. Отец до революции обрабатывал 70 десятин земли, держал до 30 голов лошадей и столько же крупного рогатого скота и до 50 голов овец.

В январе 1930 года семью раскулачили, всё имущество отобрали, нас (родителей, меня и сестру Клаву) отправили поездом до Тюмени, затем санным путём вывезли из Тобольска. Из Наваринки нас отправили 5 марта, в Тобольск нас привезли 22 марта. Наш путь от Тюмени до Тобольска продолжался 9 суток.

В Тобольске семьи раскулаченных жили в церквах до 22 мая. 22 мая нас погрузили на пароход «Китаец», на котором мы были доставлены сначала в Берёзово, а затем в Шайтанку.

В Шайтанке нас поселили в доме зырян¹ Бабиновых. Родители вырыли землянку вместе с семьёй Ланшевцевых, куда мы вскоре переселились. А летом 1931 года нас переселили во вновь построенные бараки. Отца отправили на рыбалку в Нергу, а мы с мамой зимовали в Шайтанке. Летом 1932 года нас катером отправили в Нергу. Добирались до нового места назначения 8 суток — с 27/IX до 5/X.

Все годы наших скитаний мы жили в нищете и голоде. Правда, нам помогли папины родители — выслали денег на покупку коровы. Мы сначала купили её на 2-х хозяев (с Таскаевыми). Затем купили другую корову, и мы нашу Белянку привезли в Нергу. Она-то и спасла нас от гибели.

Времена были тяжёлые: от голода и болезней вымирали целыми семьями. Осенью 1934 года нас погрузили на плоты (разобрали все дома в посёлке) и отправили до Ванзетура. Землю покрыл снег, появились забереги², по реке плыла «шуга»³. А сено осталось в Нерге. Родители по снегу накопили сена и корову спасли.

Зимой 1935 года отца отправили на рыбалку под Салехард в пос. Пуйко. А нас весной (в мае) этого года на плашкоуте⁴ перевезли на новое место в посёлок Лапоры. В Лапорах нас поселили в бараке, в котором жили 2 семьи из 5 человек, нас (из Ванзетура) поселили ещё 2 семьи (5 человек Бадьиных и 6 человек Тороповых).

Наши нары располагались рядом с дверью. На нарах спали родители, с сестрой Ниной, а мы с Клавой на полу. Сколоченный из досок на скорую руку стол и нары — вся наша мебель. Посреди барака стояла большая русская печь, но она помещение обогревала слабо, рядом с печью в зимние дни ставили «буржуйку», на которой мы, ребяташки, пекли ломтики картофеля, прилепляя их к бокам печки.

Ну, а в мае 1935 года мама сразу занялась разработкой и расчисткой огорода (надо было выкорчевать оставшиеся пни и вскопать целину). Посадила 4 ведра картофеля. Осенью собрала 40 вёдер.

Осенью приехал из Пуйко папа, но в 1936 его отправили рыбачить в Нергу. Папа там летом убил лося, засолил его, и зимой мы ели супы из лосятины. Мясо было очень жирное.

В 1938 году летом у нас сильно болела Нина. Медпункта в посёлке не было. Однажды у неё был приступ, Нина начала задыхаться. Побежали за мамой на работу. Но когда мама прибежала домой, дыхание у сестры нормализовалось и она дремала у меня на руках. Ясли не работали, их ещё не было. Надзор за сестрой был возложен на меня, но я, когда она днём спала, убегала играть, за это мне от мамы попадало.



Глафира Романовна и Семён Яковлевич Бадьины — родители М. С. Пестряковой. Предреволюционные годы

Денег за работу в артели платили настолько мало, что их не хватало даже на хлеб. Мама покупала овсяную крупу (она была дешевле), толкла её и пекла из неё толстые блины, очень невкусные. Несмотря на голод, ели мы их только для того, чтобы набить пустой желудок. В Лапорах мы уже не ели хлеб с добавлением древесной коры и толчёных рыбьих костей. Через год увеличили площадь огорода, появился свой картофель, было своё молоко, правда, Белянка больше 6-и литров в сутки не давала, но всё же это было большое подспорье в эти голодные годы.

В 1936 году у нас заблудилась в лесу Клава. А было так. Нам папины родители послали жёлтый х/б платок, цветастый, с кистями. И мы в это утро его не поделили. Платок достался сестре. Она взяла глиняную мисочку и отправилась к маме на работу (мама работала на кирпичном заводе в лесу за соймом)⁵. Клава пошла собирать ягоды и заблудилась. Искали её весь день до позднего вечера. А ночью её привезли Пашины. Она вышла на берег, увидела лодку и стала звать на помощь. Платок она потеряла, зато принесла домой полную миску черники, а сверху — огромный подберёзовик. Утром мама купила нам белого хлеба, и мы с удовольствием ели

его с простоквашей. Наутро искусанное комарами в лесу лицо Клавы распухло, глаза превратились в узкие щёлочки.

Затем Клаву обожгли в бане. М. Кузнецова очень любила попариться и вылила на каменку целый ушат воды. Вода проникла в печь, из печи выбросило горячий пепел, угли. Клава стояла рядом. Ей обожгло спину, ноги. Её отвезли в Нарыкары. Там она целый месяц лежала в больнице. Долечивалась дома.

В 1938 году к нам приехали папины родители: дед Яков и бабушка Дарья. Они привезли кое-что из припрятанных маминых вещей. Приехали они в августе, а в конце сентября получили телеграмму, что тёте Наташе, папиной сестре, сделали операцию, и старики вернулись в Наваринку, так как боялись, что останется безнадзорной её 13-летняя дочь Наташа.

В 1938 году я закончила 4 класса и меня отправили учиться в Ванзетур. Страшно скучала, плакала. А как только устанавливался санный путь, еженедельно ходила домой. Отправлялись в субботу после занятий, а в обед в воскресенье топали обратно в Ванзетур.

В 1941 году я закончила 7 классов. В июне началась война. Мои одноклассницы уехали на учёбу, а у меня не было свидетельства о рождении, поэтому я в этот год осталась в Лапорах, работала в колхозе на сенокосе, на заготовке тала и хвоща, на лесозаготовках, на рыбалке.

На лесозаготовках мы, подростки, обрубали сучья с кедров и жгли их. Надо было за день обрубить и сжечь сучья с восьми вершин. Из кедровых стволов в посёлке делали заготовки для ружейных прикладов.

Лето 1941 года было холодное, уровень воды был на два метра выше обычного. Зима снежная и суровая. Поздней осенью и весной я была занята на рыбалке. Весной мы рыбачили с папой, в Новинских ссорах — Тари-Тур и Мос-Тур. Это больше 10-и километров. Сети были хлопчатобумажные. Их ежедневно надо было снимать, просушивать, предварительно вытряхнув из них траву, а вечером — ставить. Рыбу ездили сдавать в ледник ежедневно. Ежедневно приходилось на гребях⁶ плыть до 30 км. Рыбалка была удачной, нам выдали целевые талоны⁷ на продукты и товары.

В конце сентября 1942 года мне пришёл вызов из Салехарда, и я уехала на учёбу. Училась я в Салехардском педучилище. В феврале 1945 года меня и Надежду Сокур отправили на работу в Пельвожскую начальную школу-интернат. В 1947 году я устроилась на работу в Тегинскую начальную школу, а в 1948 году меня перевели в Новинскую начальную школу заведующей, в 1950 году переведена в Лапорскую начальную школу. В 1954 году по семейным обстоятельствам переехали в Берёзово. Работала 2 года в вечерней школе, затем — в Берёзовской средней школе.

В 1969 году всей семьёй переселились на юг. Там я работала воспитателем детского сада в винсовхозе «Победа», ст. Вышестебелевской Краснодарского края. В мае 1970 года вернулась в Берёзово. В начале июня 1970 года получила назначение в Берёзовскую начальную школу. В этой школе я проработала до пенсии. В 1976 году с 1 января я ушла на заслуженный отдых, а 28 октября 1976 года устроилась сторожем в Берёзовскую сберкасса, где я проработала до 1 июля 1992 года.

Ну вот, я и обозначила в этой тетради «Этапы большого пути» в хронологическом порядке. Дальше, если будет на то воля Божия, последуют подробности. Сразу оговорюсь, что писать буду не только о себе, но и родных и близких мне людях, не соблюдая хронологии.

Из рассказов двоюродной сестры Пелагеи Храмовой

В 1916 году мой дед Яков поехал проверить посевы пшеницы. Когда он возвращался обратно, лошадь остановил странник (по виду нищий). Одет он был в длинный зипун, подпоясанный верёвкой, за плечами котомка.

Странник попросил у дедушки хлеба. Хлеба у него с собой не оказалось. Дед сразу не догадался привезти нищего в деревню и накормить. Но когда он буквально через минуту обернулся, чтобы посадить незнакомца в телегу, его нигде не было.

Приехав домой, дед со слезами упрекал бабушку, почему она не догадалась дать ему хлеба в дорогу. В лице нищего хлеба просил у него Николай Чудотворец. «Нашему семейству предстоят тяжёлые испытания», — говорил дед. А испытания предстояли всей России.

Наш дом в Наваринке я помню плохо, и почему-то всегда в полумраке. Вот мы с Талёнкой возимся по тёплому и мягкому дедушкиному животу, дед иногда ловит нас и щекочет своей коротко подстриженной бородой, а мы визжим от восторга. Бабушка иногда унимает нас, боится, чтобы мы не упали, — действие-то происходило на огромной русской печи.

Знаю, что в доме была печка-голландка: дом был большой, четырёхкомнатный. И ещё помню: просыпаюсь, лежу в темноте. Все спят, а я не могу дождаться, когда проснётся мама. Мама вставала в 4 часа утра.

Двор у Бадьных был большой, по двору разгуливали куры, гуси, индюки, стояли летом телеги.

Со слов мамы, дед Яков катал нас с Талёнкой в коробе, в котором возился навоз, дно которого устилалось сеном. И ещё я помню наш с Талёнкой горшок и стульчик к нему. И я всех уговаривала заполнять его, но никто из взрослых на него не садился, к моему огорчению.

Я очень любила свой красный, очень яркий сарафан. Мама его сшила из старой папиной рубахи. Он был вышит по подолу. Но стоило мне летом выйти в этом наряде во двор, как на меня нападали индюки, и я со всех ног с криком бежала от него, чтобы скорее забраться на высокое крыльцо.

Помню, однажды в дом собралось много народа. Это, по-видимому, были поминки. Я с интересом следила за женщиной. У неё было маленькое круглое лицо, а вместо носа — дыра. Когда эта женщина говорила, виден был остренький кончик языка. Будучи уже взрослой, я рассказала об этом нашей односельчанке Таисии Ланшевцевой. Она сказала, что эту женщину заразили братья, вернувшиеся с войны. Все ели из одной чашки, и ведь не было случаев, чтобы кто-нибудь заразился.

Теперь о нашем «путешествии» на Север. Помню, как нас провожали, все плакали. На мне, кроме моего пальто, была мамина плюшевая куртка. Из слов тёти Наташи, меня спросили:

- Ты к нам приедешь?
 — Нет, я к вам больше не приеду.
 Приехала... через 28 лет.

Запомнилось, как ехали от Тюмени до Тобольска на лошадях. Я сидела со стариками Арзамасцевыми. Папа в сером драповом пальто иногда подходил к нашим саням и вынимал из-за пазухи кусочек хлеба и давал мне «гостинец» от зайчика или от лисички.

По рассказам мамы, она с четырёхмесячной Клавой сидела на возу с поклажей. Чтобы она не упала, её привязывали к саням верёвками. А мне хотелось, чтобы мы обогнали солнце, но этого тоже не случилось.

Помню полумрак Тобольской церкви, трёхъярусные нары. Скорбные лица около детских гробиков. Свирепствовала корь. Переезд от Тобольска до Берёзова запомнился одним случаем. Мы в трюме, темно. К потолку подвешена на пружине зыбка, в которой лежит Клава. Мама поддерживает её руками и унимает меня, чтобы я сидела на месте. Стоит мне только шагнуть, как пол уходит из-под моих ног. Женщины вокруг плачут и молятся. Как я узнала после, плыли мы на допотопном пароходе «Китаец» и попали в шторм.

Летом 1919 года в Наваринке случился пожар. Солдаты поставили в сенях самовар при ураганном ветре. Загорелась соломенная крыша, а через полтора часа 2/3 станицы выгорело. Сгорел дом папиных родителей. Кое-какой багаж остался цел благодаря тому, что станица несколько раз переходила от красных к белым и обратно, люди — что ценное — закопали в землю. Грабили и белые, и красные. Остался дом отца, который был сдан в аренду под почту. В него они и вселились, а потом перенесли его на место старого дома.

После революции отец служил сначала в белой армии по мобилизации, затем — в Красной армии (тоже не добровольцем). Война осточертела, все стремились домой, к мирной жизни.

Помню, Георгий Васильевич Кошаров рассказывал, что участвовал в митинге, где агитировал Ленин. Всех подкупило его обещание о прекращении войны. А вместо лозунга «Долой войну!» началась Гражданская война.

У белых отец служил недолго. Он заболел тифом, лежал в госпитале в Уфе. В это время красные заняли Уфу. Отступая, белые забрали с собой раненых и больных. Красные преследовали обоз, и белые бросили повозку, на которой лежал отец с товарищем. К ним подошел красноармеец — стоит, смотрит.

— Что ты там медлишь, кончай скорее, — раздался голос другого бойца. — Нечего на них пули тратить, сами подохнут.

После того, как красные скрылись, отец с товарищем, помогая друг другу, вылезли из повозки и побрели по дороге, поддерживая друг друга. Навстречу попался возница.

- Далеко до жилья? — спросили его.
 — К вечеру доберётесь.

К вечеру они пришли на хутор. Хозяин хутора, украинец, принял их, накормил, оставил на ночлег. А утром сказал:

— Куда вы пойдете, такие слабые, погибнете. Оставайтесь у меня, будете помогать: один — мне по хозяйству, а другой — снохе.

Поначалу помощники, по словам папы, из них были плохие: пытаюсь отделить пласт сена из стожка, выдернут его через силу — и упадут. Под весну они собрались уходить. Старик дал им одежду и обувь, снабдил на первое время продуктами.

Добирались до Наваринки пешком. Домой пришли поздним вечером. Отец попросил товарища постучать и попроситься на квартиру, на ночлег. Стучат. К двери подошёл дед.

— Пустите переночевать?

— А много вас?

— Двое.

Первым зашёл товарищ, за ним, прячась за его спиной, зашёл папа. Дед увидел отца — и поставил свечу мимо стола.

Из рассказов тёти Наташи — Натальи Яковлевны Бадьиной, папиной сестры

В 30-е годы дед Яков приехал в гости к своей дочери Анне (Храбриной). Был праздник Рождества Христова. Все бросились с ним здороваться, но он, жестом отстранив всех, прочёл сначала тропарь Рождеству Христову, а после начались объятия, поцелуи и т. д.

Родители вспоминали, что наш прадед, Георгий Пономарёв, своих обидчиков «ругал» так: «Чтоб тебя втрое в Троицкую намочило». Он желал своим недругам благодатного летнего дождя. За это его прозвали Намочилой!

По рассказам мамы, к большим праздникам в станице люди обеспеченные обычно готовили подарки. Шили рубашки, платица детям, давали муку и необходимое для выпечки куличей к Пасхе. Бабушка Наталья муку раздавала пудовками (по 16 кг). Всё это предназначалось для бедных.

По рассказам мамы, однажды, когда они улеглись под телегами на короткий полуденный отдых, она почувствовала какой-то холодный предмет под рубашкой. Мама развязала юбку — и на землю упала змея. Мама закричала, наступила на змею, и из живота змеи выползло 11 змеёнышей.

В Нерге у меня на руках появилось множество бородавок. Увидела их бабушка Смирных и позвала меня к себе домой. Она взяла суровую нитку и начала завязывать на ней узелки. Бородавки исчезли.

В Нерге папа однажды взял меня на рыбалку. Плыли мы с ним на маленькой лодочке — колданке⁸. Проверяли сети. Варили уху. Посёлок Нерга находился в лесу и был мрачный. А тут — столько света, такое раздолье. Тихая неподвижная гладь реки и озера. Деревья и кусты, отражающиеся в воде. Всё так красиво! Перетаскивал папа колданку на озеро. Там тоже стояли сети. Папа поймал мне утёнка, но я его не удержала. Утёнок нырнул в воду реки и не вынырнул. Было так его жалко.

Мама рассказывала, что её бабушка Ольга ходила в Иерусалим. Путешествие продолжалось 2 года. Дедушка Роман посылал деньги через Москву. Купалась моя прабабушка в Иордане, полоскала в этой реке свою смертную одежду. Было это или в конце XIX века или в самом начале XX-го. Ба-

бушка Ольга рассказывала, что она узнала о будущем России. Железные корабли будут летать. Всё небо будет опутано железными тенетами. Будут девицы — бесстыжие лица. Надо бояться Китая. У России останется рукав, а вся шуба будет у Китая. Все предсказания, кроме Китая, уже сбылись.

У меня хранится икона Сибирской Божией Матери, которой благословляли родителей моих — Симеона и Глафиру — на брак родители отца: Бадьины Яков Кириллович и Дарья Ивановна. Эту икону в ссылку привезли нам папины родители в 1938 году. В 1958 году мама заболела, у неё признали опухоль печени. В этом же году нас навестила Клава, она возвращалась из Тобольска, где училась на курсах бухгалтеров. Мы посоветовались с нею и решили, что маме в их семье будет лучше: у меня уже в то время было четверо детей, младшим было всего по 11 месяцев. И Клава увезла маму в Тазовское. А мы, «умники», мамину икону вынесли в кладовку. Как-то, в мае этого года, мы с мужем делали уборку в кладовке, и Юра рывком повернул икону лицом к стене. Мне это не понравилось:



М. С. Пестрякова. 2006 г.

— Почему ты так небрежно с нею обращаешься? — спросила я у него. Он ответил двумя словами, повторять которые я не буду, хотя не были, по словам апостола Павла, «гнилыми» словами.

Возмездие пришло в тот же день. Приехал с курорта дядя, мамин двоюродный брат, Николай Иванович Макаров, и нас позвали в гости. А когда мы вечером возвращались домой, я за квартал почувствовала запах гари и сказала об этом мужу.

— У тебя, что ли, горит? — сказал он.

Когда мы открыли дверь, то в лицо бросилось пламя.

А случилось вот что: у старшего сына заболели зубы, и он решил согреть воду для грелки. Включили электроплитку. Свет был отключён. Плитку не выключали, затем бросили на неё какую-то тряпку. Когда свет дали, тряпка загорелась. Юра, младший, вынес её на улицу, затоптал пламя, да, видно, не совсем, и занёс тряпку в сени. Вот тогда я поняла: «Бог поругаем не бывает».

Посёлок Наваринка — моя историческая Родина — был основан [в XIX веке — зачеркн.] в основном из переселенцев. Начало же ему положили казаки после исторического сражения российской армии при Наварине, а основное население было из переселенцев, тоже не добровольных⁹.

Из рассказов родителей, мой дед по матери был переслан из-под Харькова, а папин прадедушка из деревни Разуваевка Уфимской губернии. Судьба «счастливиц» решалась на сельских сходах по жребию. Но когда назначали срок выселения, мужчины скрывались. Тогда начальство стало внезапно подгонять подводы к жилищам, назначенным к переселению. Объявляли сроки сбора, и со слезами отправляли бедолаг к новому месту жительства. Наваринцы четыре года терпели неудачи, так как хлеб не родился. Приспособились, и плодородная чернозёмная почва стала приносить богатые урожаи.

Забыла ещё написать, что сроки внезапного сбора были настолько коротки, что у многих в печах остался недопечённый хлеб¹⁰. 12. 02. 04.

У меня долго хранились 2 письма: одно — деда, Бадьина Якова Кирилловича; другое — моего отца, Бадьина Семёна Яковлевича. Я передала их сестре Нине. За давностью времени они пришли в ветхое состояние, многое стёрлось или порвалось. Собираемся их отксерокопировать, не знаю, удастся ли это. Поэтому Нина переписала их содержание.

Письмо Бадьина Якова Кирилловича (дедушка умер 27 декабря 1940 года)

Милая, дорогая моя семья: Сёма и Граня, Маня, Клавдя и Нина!

С глубоким вздохом пишу вам от себя сердечный привет и целую вас всех, как в своих объятьях.

Жили вместе и наслаждались своими удовольствиями: мы — отцы над детьми, а вы, дети, радовались нами. А теперь живём... — всё только утешаемся слезами да тяжело вздыхаем, думая о прошлом. <нрзб.>

Чего было, куда делось?.. И сейчас как живём, если бы вы посмотрели на нашу жизнь и послушали наши песни, не показалось бы вам... <нрзб.>

А всё идет из-за милого нашего <нрзб.> Предсказание кудесника сбылось... <нрзб.>... да кашляю, одышка берёт, и силы все истощаются. В больницу ко врачам не хожу. Я в Уфе ходил к хирургу, он меня послушал и дал мне рецепт. Вот испытал сам. Я обсказал, что лекарство моё — своя моча. Он подумал и сказал: «Дед, твоё дело немолодое, стар. Мы не залечим твою боль, а вы своим лекарством поддерживайте свои...<нрзб.>». Вот я этим и живу. Не знаю, отпустит ещё или нет.

Сёма, мы часто плачем о тебе...<нрзб.>... прошло, и раз уехали, у вас были <нрзб.> ... очи слёз... и мы каялись, и сейчас под чужой вывеской живём. Зять — человек угрюмого и грубого характера. Опять уехал на курсы от колхоза на агронома на год в г. Верхнеуральск. Осталась опять Наталья одна, зарабатывает <нрзб.> хлеб. А хлеб выдают на заработки, но мы не знаем, как будем питаться. Сейчас пока ещё дела обходятся.

Погода. Снег выпал с Покрова — и много: по брюхо лошади, — и сейчас лежит. Скотина на корм стала рано — кормов не хватает.

Привет Анастасии Андреевне и Анне Емельяновне.

К вам <нрзб.> Яков К.

Сёма, передавай привет Лександр А., Козмин Фёдор...

Письмо Бадьина Семёна Яковлевича (умер 2 января 1954 года)

*Здравствуйте, дорогие Глафира Романовна, Мария, Юрий В.
и Юрочка!*

Шлю вам привет и желаю хорошего здоровья. Нахожусь в больнице. О сроке выписки пока ничего не известно. Ну, во всяком случае, мы вам

сообщим, когда будет нужно. Если не будет попутчиков, телеграммой. Тогда попросите лошадь у Колмогорцева Ф. Я.

Ещё я хочу тебе сказать, Глафира Романовна, у Нины неважные валенки, как-то надо сколачивать ей новые. Ещё нет варежек у ней. А кроме того, она у Сары Иосифовны одни потеряла. Вернее, она зашла ко мне, а у ней в прихожей их стащили.

Ну, шлю привет моему маленькому Юрочке. Он, наверно, совсем забыл деда. Приеду, так совсем не признает меня.

Если поедете за мной, то как-нибудь... <нрзб.>

А пока будьте здоровы.

Ваш дед.
27/XI-52 года

Письмо адресовано в Лапору. За папой ездил в Берёзово мой муж, Юрий Вас. Пестряков.

Юра (сын) однажды проснулся и говорит: «Мама, я во сне видел, мыши пляшут у нас под столом и говорят: „Ханты — манты — понимолте“».

Однажды, когда я впервые привезла Юру в Берёзово, он увидел велосипедиста и сказал: «И мне такую кружилку купи».

А Галя, наслушавшись «патриотических» передач по радио, часто твердила: «Догоним Америку на душу населения».

Василий, указывая на осенний лес:

- Разве у нас праздник?
- Почему ты так думаешь?
- Деревья очень красивые.

Галя, когда принесли из роддома Васю и Андрюшу, показав на Василия, изрекла: «А этого, рыжего, обратно в роддом унеси».

Однажды, услышав звук пилы (во дворе пилили дрова), Вася спросил:

- А ты знаешь, что это пила поет?
- Не знаю. А что она поёт?
- Она поёт: «Выпить! Выпить!»

Он же, глядя на луну:

- Луна? А что такое луна?
- Луна — это как солнце. Только солнышко днём, а луна — ночью.
- А почему она бывает круглая и порванная?

Мы отмечали день рождения мамы. Василий, в то время ещё маленький (по-моему, он не учился ещё), пожелал бабушке здоровья и жить до ста лет. Отец (наверное, был не в духе) начал упрекать Васю: «Хамелеон! Бабушку не слушаешь, а жить ей желаешь до ста лет». На что Василий ответил: «Не хочешь жить до ста лет — не живи. А баба пусть живёт до 100 лет». Папа как «врезал» сыночку, что он вылетел из-за стола. Я напугалась, не случилось ли с Василием плохого, не повредил ли он ему. Убедившись, что с Василием всё в порядке, и прочитав ему нотацию, вернулась к столу и воздала должное мужу. Мама прожила 98 лет, Юра — 57.

В Рыбинске, на даче.

— Оля, подай голик, — обращается к ней Валентин Маркович.

— А что это такое?

— Да вот, в углу стоит.

— А по-нашему его фамилия веник называется.

Оля — «рационализатор». Прежде чем съесть суп, вынула из него картошку и разложила по столу.

— Зачем ты это сделала? — недовольно спрашивает её отец.

— А чтобы быстрее остыла.

Однажды Юра «высказался»:

— Вырасту, не буду с тобой жить.

— Мама, мы с тобой вдвоём жить будем, — успокаивает меня Галя.

— А как же папа?

— А он умрёт.

— Галя, ну что ты говоришь? Разве так можно?

— Да, у нас в соседях одни бабушки, а дедушки все умерли. (Перечисляет.)

Мама смотрит по телевизору балет: «А эти опять разнагишались».

Катя о себе: «Какая Катя юмная!»

Она же об игрушке: «Нетигреночек Адзела» (негритеночек Анжела).

3. «ТЫ НЕ НОЙ, НЕ НОЙ, СЕРДЕЧУШКО, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НОЙ...»

Архив Евгения Исааковича Михайлова

В июне 2003 года в составе экспедиции «Славянский ход-2003» в п. Питляр, Шурышкарского района, Ямало-Ненецкого автономного округа мне удалось обнаружить уникальный архив спецпереселенца Евгения Исааковича Михайлова (1911–1999), хранящийся у его дочери, Веры Евгеньевны Шестаковой. Михайловы — уроженцы дер. Кокорино, Мишкинского района, Челябинской области (сейчас — Каргопольского района, Курганской области). Старообрядческая семья Михайловых была выслана на Север в 1929 году (5 марта) в составе трёх человек: Фотина Васильевна (1883–1941), мать; Евгений Исаакович, сын; Анна Исааковна (1918), дочь. Ещё раньше, в 1928 году, был арестован по линии ОГПУ (сослан на пять лет в пос. Азанка, под Свердловск) глава семейства — Михайлов Исаак Афанасьевич (1870–1935), возможно, по религиозным причинам: принадлежность к старообрядчеству.

Архив Е. И. Михайлова даёт яркое и репрезентативное представление о письменном наследии спецпереселенцев. Право описывать прошлое (и даже рассказывать о нём) Евгений Исаакович, как и все раскулаченные, об-

рёл только в конце 1980-х годов. В 1989 году в районной газете «Красный Север» было опубликовано его автобиографическое письмо с авторским названием «Побратимы» — отклик на публикацию о судьбе спецпереселенцев Добрыниных из п. Аксарка. Очевидно, позже (по словам В. Е. Шестаковой) Е. И. Михайлов составляет по памяти «Опись имущества, изъятого при раскулачивании»; записывает частушки собственного репертуара (113 текстов). К этому корпусу памятников письменности примыкает и семейная реликвия — издание Нового Завета на церковнославянском языке, тоже обретшее особую спецпереселенческую судьбу.

Евгений Исаакович, очевидно, был человеком «письменным», склонным к письму и книжному знанию, во многом благодаря своему старообрядческому происхождению. По воспоминаниям его дочери, Е. И. Михайлов в течение многих лет вёл дневник погоды, который, к сожалению, был утрачен. Но и сохранившиеся в семейном архиве памятники письменности являют собой яркий пример борьбы с беспамятством человека, который трагическими перипетиями истории был обречён быть «бесписьменным», «безголосым» и «беспамятным».

Опись имущества, изъятого при раскулачивании

«Опись изъятого имущества при раскулачиванье» датирована Е. И. Михайловым 14 марта 1997 года. Подобные памятники письменности порождены процессами, официально санкционированными Федеральным законом «О реабилитации жертв политических репрессий» (1991). В. Е. Шестакова так комментирует составление «Описи» её отцом: «Опись имущества отец составил для суда. Было такое постановление. Через суд возвращали компенсацию за ущерб в 100-кратном размере мин. з. пл., на то время это составило бы 8000 рублей, т. е. можно было бы купить отечественный автомобиль, недорогой частный дом» (В. Е. Шестакова. Письмо — Письмо В. Е. Шестаковой О. Р. Николаеву (осень 2003) // Личный архив О. Р. Николаева).

Компенсацию Евгению Исааковичу так и не удалось получить, но от этой попытки восстановления справедливости остался уникальный памятник своеобразной «реституционной» культуры. Исключительность михайловского текста становится ясной на фоне, с одной стороны, официальных описей имущества раскулаченных, составленных властями в момент выселения; с другой стороны, обобщённых описаний «кулацких» хозяйств, сделанных в устной или письменной форме самими раскулаченными или их потомками по памяти по прошествии долгого времени.

Второй тип описаний принадлежит к традиции «хозяйственных преданий». Он основывается на избирательно-перечислительном принципе; обладает признаками фольклорного повествования; лишён статистических данных или же передаёт их несистемно, зачастую мифологизируя (например, количество скота в хозяйстве почти всегда стремится к увеличению). «Цифровая мифология» характерна как для «реституционных» воспоминаний, так и, вообще, для рассказов о прошлом.

«Опись имущества» Е. И. Михайлова по детализированности, скрупулёзности, полноте и статистичности может поспорить с документами официального характера. При этом, по мнению В. Е. Шестаковой, «... составлял отец всё исключительно по памяти. Никогда раньше он не рассказывал подробно о своём хозяйстве <...> только после того, как я добилась справки о его реабилитации, и свидетельства, и льгот как репрессированному» (В. Е. Шестакова. Письмо). В «Описи» тщательно описано всё хозяйство Михайловых, личное имущество каждого члена семьи и даже «приданое сестры Анны Исааковны».

Фрагменты из «Описи» Е. И. Михайлова

«Опись» цитируется с сохранением орфографических особенностей рукописи.

«Опись изытого имущества прироскулачиванье. Отец Михайлов Исаак Афанасьевич. Мать Михайлова Фотина Васильевна. Сын Михайлов Евгений Исаакович. 1911 года. Дом 5x8x2,5 метра поднавес¹¹ под тесом 6м. забор бревенчатый 6 м. высота 1,8 м. погреб бревенчатый 5x4 м. выс. 1,6 м. поднавес 2,5 м. забор бревенчатый 2,5mx1,6 м. овчарник¹² и курятник бревенчатый, 6x4x1,4 м. поднавес 12 м. забор бревенчатый высота 1,6 м. Конюшня 4x4x1,6 м. поднавес 12 м. забор бревенчатый 1x2x1,6 м. тёплая конюшня для коров бревенчатая 6x4x2м. загон¹³ бревенчатый забор с двух сторон общей протяжённостью 30x1,4м. баня бревенчатая 3x3,5x1,5 м. Малая изба 5 пятистенки 3x6x1,6 м. бревенчатая. С южной стороны омбар: завозня¹⁴ где хранился сезонный инвентарь летом сани, кошева¹⁵, зимой телега, и ходок¹⁶, 8x6x2 м. поднавес под тесовой крышей 10 м бревенчатый забор 10x2м. Омбар бревенчатый для зерна 4x3x1,6 м. забор тесовый 10 м. и ворота: дом забор ворота украшенный вырезками¹⁷. 3 коня, 3 коровы, 10 овец, 10 кур, 3 гуся, 3 улья пчел.. Самосброска жатка конная, молотилка для обмола снопов конная, веялка очищать зерно от попола, 2 телеги на деревянном ходу, ходок разукрашенный, праздничный ходок ездить в будни оба на железном ходу: оси железные. <...>

Опись имущества прироскулачивание Михайлова Евгения Исааковича 1911 года рождения 25 февраля в данное время Курганская область Каргапольский район Плотниковский с/с дер. Кокорина. Моё: овечий новый чёрный полушубок, шапка каракуль, пальто меховое крыто чёрным сукном, мех из кудрявых ягнят каракулевой воротник. Пальто демисезонно из тонкого коричневого сукна, брюки из коричневого сукна, костюм тройка из чёрного сукна, брюки из толстого сукна, перчатки кожаные меховые пара. Валенки рабочие чёрные новые 1 пар, валенки выходные чесанки 1 пар. Шпелет¹⁸ 1 п., галоши 1 п., сапоги хромовые 1 п., рабочие сапоги 1 пара. Носки шерстяные вязаные 3 пары, шарф пухов 1 ш., шарф рабочий 1 шт. Свитры шерстяные вязаные 3 шт., нижнее бельё льняное самотканое 4 комп., нижнее бельё из каленкора 4 комп., рубашки льняные рабочие 4 шт., рубашки выходные сатин 6 шт. Тулуп крытый сукном 1 ш., доха собачья¹⁹ на байковом поткладе 1 шт. из 14 собачих шкур».

Конечно, сейчас невозможно установить, пользовался ли Евгений Исакович какими-либо дополнительными источниками (записями или рассказами своих сестёр), но финальная фраза «Описи»: «взято полностью всё-ли записал ни знаю время прошло много многое забылось», — указывает на то, что доминируют механизмы воспоминания, а не сбора информации. «Опись имущества» воспринимается как некое парадоксальное явление — это уже не просто официальные сведения о материальном благосостоянии зажиточного крестьянства до коллективизации или фольклоризованный образ хозяйственного благополучия, но уникальный документ «хозяйственной памяти».

Обстоятельность и детализированность хозяйственной статистики Е. И. Михайлова поражают воображение и могут вызвать сомнения в их достоверности: размеры усадьбы и всех дворовых построек, количество вещей в гардеробе каждого члена семьи, даже размеры покрывал, штор, половиков и т. д. Можно предположить — и это вполне резонно — что в некоторых конкретных случаях Е. И. скорее реконструировал количественные данные, нежели воспроизводил их по памяти. Можно ли выявить эти случаи додумывания? А если нельзя, то не стоит ли и сведения Михайлова в целом воспринимать как факт сверхдокументализированной «хозяйственной мифологии»?

Уверен, что нет, так как «Опись» в своей целостности вызывает доверие к информации, в ней содержащейся. Вероятное восстановление некоторых реалий и их количественных характеристик общей картины не меняет. Традиционный хозяйственный менталитет обладал качествами нормативности и предсказуемости: в нормальном хозяйстве семьи с определённым числом её членов должно быть или может быть то-то и то-то в таком-то количестве. Эти механизмы хозяйственного мышления позволяют реконструировать подобные данные с минимальной погрешностью. Мифологизация «хозяйственного прошлого» как раз и возникает на почве разрушения традиционной «философии хозяйства»: утраченное благополучие идеализируется, и достоверность этого идеального образа подкрепляется цифровыми аргументами, которые также порождены механизмами идеализации.

Чем же всё-таки можно объяснить уникальность хозяйственной памяти Е. И. Михайлова? Во-первых, «Опись» составлялась как документ, обладающий прагматической функцией: она подавалась (очевидно, с соответствующим заявлением) в органы власти с целью получения компенсации. Необходимость тщательной статистической аргументации в этом случае понятна каждому советскому (и постсоветскому) человеку. Опыт составления хозяйственных документов у Евгения Исаковича был немалый, он много лет проработал в колхозе кладовщиком.

Во-вторых, Е. И. Михайлов, кажется, обладал исключительной памятью с особой направленностью её на природные, хозяйственные и бытовые реалии, количественные данные и даты. В русской деревне такие «памятливые» мужики становились «устными летописцами» (и не только устными). Е. И. Михайлов был лишён родной среды, социальный организм спецпереселенческого посёлка обладал особыми характеристиками, среди которых,

очевидно, и настороженное отношение к общему историческому знанию сообщества. Функции хранителя исторической памяти Евгений Исаакович вынужден был выполнять в индивидуальном «закрытом» режиме, лишь с перестройкой получив возможность делиться знаниями.

В-третьих, Е. И. Михайлов был выслан уже в сознательном возрасте — восемнадцать лет; по трагической иронии истории день высылки совпал с днём его рождения. Достижение мужской зрелости в крестьянской традиции связано и с осознанием обрётённого хозяйственного знания и хозяйственной ответственности. Кроме того, с 1928 года, когда был арестован его отец, Исаак Афанасьевич Михайлов, Евгений Исаакович становится единственным мужиком в доме, а следовательно, принимает на себя роль хозяина. Быть хозяином в ситуации повышенной социальной тревоги — особая функция. Можно предположить, что память в моменты кризисов работает в напряжённом режиме, а соответственно, и степень сохранности информации резко повышается.

В целом должно признать, что в результате коллективизации исчезли не только добротные дома и зажиточные усадьбы, но и безвозвратно ушла традиционная крестьянская «философия хозяйства». Для последней материальное окружение человека имеет не только и не столько утилитарное значение, сколько является неотъемлемой частью целостного и единого мира смыслов и ценностей. Именно эта интегральность представлений о хозяйстве и имуществе и есть основная подоплека столь исключительных способностей крестьянской «хозяйственной памяти».

Сохранилось ли что-то от мира михайловской усадьбы в Кокорино, кроме имущественного реестра в памяти Евгения Исааковича? В. Е. Шестакова в ответ на мой вопрос о вещах, взятых при раскулачивании с собой, пишет: *«На Север они везли топор, пилу. Везли в мешках с мукой драгоценные вещи: кольца, серьги. Но в г. Тобольске муку забрали на хлебозавод и пекли им хлеб. Так все лишились последнего богатства. У отца было 2 рубашки, ткань на ошупь удивительная, отец называл её „коленкор“. Одну мы положили в гроб, он так просил, а одна затерялась где-то. Мы ведь эти косоворотки все „таскали“ выступать. Были у отца и сапоги, которые ему шили к 18-летию, но разве мы сохраним».*

В катастрофической жизни исчезают нажитое богатство и хлеб, остаются орудия выживания (топор, пила) и вещи, наиболее близкие к человеку, — рубашки. Власть посягает и на них, но крайне изощрённым способом. Так как они не соответствуют советской норме одежды («косоворотки»), их нельзя носить (атрибут идеологически враждебной культуры). Стать семейной реликвией рубашки тоже не могут. Псевдонародная культура, сконструированная в советскую эпоху и тиражируемая школьной и местной самодеятельностью, не в открытую, но подспудно (причём через детей) «приневоливает» человека, связанного с традицией, превратить вещь, хранящую память об утраченном традиционном мире, в декоративный элемент выступления в клубе: *«Мы ведь эти косоворотки все „таскали“ выступать».* Вещь уходит в сферу кича, теряет «память» и, естественно, «затеряется»: *«одна (рубашка — О. Н.) затерялась где-то».*

В этом контексте выполненная детьми просьба Евгения Исааковича положить оставшуюся рубашку ему в гроб представляется своего рода индивидуальным ритуальным действием (по сути, глубоко трагическим), направленным на преодоление беспомощности. Сама Вера Евгеньевна осознаёт беспомощность детей унаследовать «хранительские» функции отцов: сапоги Е. И. Михайлова, шитые ему к восемнадцатилетию и, соответственно, символически обозначающие его переход в возрастную категорию «старших», также не становятся мемориальной вещью: «но разве мы сохраним».

В автобиографическом письме «Побратимы» Е. И. Михайлов описывает выселение своей семьи с характерным акцентированием внимания на реалиях одежды: «Выселяли нас из дома 5 марта 1929 года, как раз в день моего рождения, когда исполнилось мне 18 лет. Дома я оделся в одежду праздничную. Завезли нас в сельский совет в Плотниково, что стоит от нашей деревни в трёх верстах, в сельском совете с нас сняли всё доброе, что потеплее, а нам дали наше же, но поношенное, в чём работали дома, да по две пары белья, вот в этом и приехали на Север».

Именно в сельсовете раскулаченным насильно меняют одежду. Значимо, что сам Е. И. Михайлов отправляется из дома одетым по-праздничному. По «Описи имущества» можно даже предположить, как он был одет. Но, на мой взгляд, в данном случае важнее не конкретика, а символичность происходящего. Сельсовет — сакральный (в контексте идеологической мифологии) центр деревенского мира в советскую эпоху, как до революции — приходская церковь. Кроме античеловечной идеологической практики расправы с классовыми врагами и мародёрской прагматики (кому доставалась отобранная у раскулаченных одежда?), в этом насильственном переодевании отчётливо виден символический план. Вообще, «смена одежд» — одна из архетипических метафор человеческой культуры, указывающая на «смену сущности». Власть не просто отбирает у человека добротную одежду, она лишает его самого «мира одежды», являющегося результатом его труда (для крестьянина преобладает домашнее изготовление одежды). В этом можно увидеть подобие символической казни средневековья, часто сопровождающейся именно «сменой одежд». Власть оставляет только рабочее, «поношенное», минимизированное до предела, лишённое почти всех функций, кроме обеспечения выживания на грани.

По какой-то трагической иронии истории сельсовет, в котором семья Михайловых была символически «раздета», впоследствии располагался в михайловском доме, перенесённом из Кокорина в Плотниково: «А потом... деревню снесли, а дом перенесли в деревню Плотниково, и был в этом доме сельский совет» (Расшифровка аудиозаписи интервью с Верой Евгеньевной Шестаковой. Запись сделана в июне 2003 г. в п. Питляр, Шурьшкарского района, Ямало-Ненецкого национального округа О. Р. Николаевым. «Славянский ход-2003»). Советская власть отбирала дома у всех раскулаченных, но в доме Е. И. Михайлова поместился её сакральный центр. Согласно воспоминаниям раскулаченных, их дома, отличавшиеся размером и добротностью, довольно часто использовались местными вла-

стями как казённые. Думал ли об этом Евгений Исаакович, но можно предположить, что и он, как и я сейчас, мог заметить эти сопряжения.

В воспоминаниях Веры Евгеньевны есть рассказ о своего рода «памятниках» Е. И. Михайлова на родину: *«Но я там ни разу не была, отец меня не брал, потому что, когда он ездил летом, он всегда брал в <нрзб> свою сестру, Пелагею Исаковну, они до какого-то места доезжали, потом пять километров шли пешком до своей деревни, и вот там, где от дома осталась яма, они напротив этого дома купались в речке и обратно шли. Вот так вспоминали своё детство»* (В. Е. Шестакова. Аудиозапись).

Не знаем, как часто совершал Евгений Исаакович эти поездки, но в изложении дочери отчётливо видна их ритуальность: участие оставшихся в живых обитателей исчезнувшего дома (Михайлов не брал дочь, очевидно, так как была жива сестра — дочь не жила в этом доме); пребывание на «пепелище»; купание в речке, очевидно, символически воспроизводящее купания детских лет. Заканчивает Вера Евгеньевна свой рассказ ёмкой по смыслу фразой: *«Вот так вспоминали своё детство»*. Воспоминание обретает ритуальную форму возвращения в «свой» мир. Не является ли и составление «Описи имущества» подобным обрядом возвращения «домой»? Посещать опустошённое место и беречь его обжитость в своей памяти... Не были ли поездки формой, поддерживающей память, а образ «своего» имущества в памяти — подоплёкой поездок? Трагическая эпоха выжгла из народной жизни её ритуальную ипостась, но люди, лишённые дома и родины, создали новые обрядовые формы, противостоящие беспомыслению.

Конечно, Е. И. Михайлов в Питляре в какой-то степени «восстановил» утраченную материальную ипостась своего мира: дом, хозяйство, имущество. Но заданный советской властью механизм уничтожения «плоти» человеческого бытия, кажется, перешёл в другую, не командно-насильственную форму. Для потомков раскулаченных, выросших во времена советских ценностей, целостная традиционная «философия хозяйства» уже не являлась фактором, формирующим их сознание. «Хозяйственный гений» «кулаков» не мог быть унаследован. Именно в координатах наследования «хозяйства» — не как совокупности материальных благ, а как одного из краугольных камней семейно-родовой жизни — следует воспринимать слова В. Е. Шестаковой: *«Когда в 1989 году я случайно приобрела тёлочку, то отец воспрял духом. А когда моё большое хозяйство в 1997 году дети (два старших сына) буквально растрепали: 3 лошадей, свиней, корову, — то отец с горечью сказал: „Меня хоть Советская власть разорила, а тебя — собственные сыновья“. И столько горечи было в этих словах, столько боли: „Они тебя по миру пустили“. И не дай Бог сбыться этим словам отца. Хотя они близки к истине. Теперь дело за немногим: собрать документы, письма, фотографии»* (В. Е. Шестакова. Письмо).

С точки зрения Е. И. Михайлова сценарий раскулачивания как бы повторился в жизни его дочери, хотя инициаторами были уже не власти, а собственные дети. Понимая горечь и боль слов отца, Вера Евгеньевна (наверно, с неменьшим трагическим ощущением) наследует и его роль — роль

«хранителя»: *«Теперь дело за немногим: собрать документы, письма, фотографии».*

Записи частушек

В семейном архиве у В. Е. Шестаковой хранится рукопись Е. И. Михайлова с записями ста тринадцати частушек. Неизвестно, когда они были записаны, но думается, что тоже в 1990-е годы, когда Евгений Исаакович обрёл внутреннее право на воплощение того, что сохранила его память — как в устной, так и в письменной форме.

Запись частушек носителями традиции — особая культурная практика, имевшая широкое распространение в XX веке, на что повлияли и необыкновенная продуктивность жанра (особенно в первой половине столетия), и его официальная признанность (по крайней мере, в идеологически дозволенных формах), и особая настроенность частушки на индивидуальный строй переживаний. В большей степени науке известно явление массового собирательства частушек. Было опубликовано немалое количество сборников, в основе которых частушечные коллекции фольклористов-любителей (краеведов, учителей, работников клубов и др.). В случае рукописи Е. И. Михайлова мы имеем дело не с собранным сводом, а с самозаписью, очевидно, собственного частушечного репертуара — того, что на протяжении жизни хранила память.

Очевидно, в основном — это частушки его молодости, запечатлевшие традиции деревни Кокорино. Жанр частушки функционально связан с определённым возрастным периодом и молодёжным сообществом деревни. Е. И. Михайлов был лишён возможности проживания молодости в традиционных формах. Хранение родного частушечного репертуара для него, очевидно, имело особое значение. Возможно, это была своеобразная форма духовной связи с утраченной родиной.

В. Е. Шестакова поясняет в письме: *«Все частушки, которые отец записал, это частушки с его родины, потому что здесь их никто не пел и не знал <...> эти частушки отец пел сам один, часто, когда сидел в одиночестве после потери матери, а следом и любимого сына Юрия».* Иногда Евгений Исаакович «пел частушки для внуков»: *«...отец рассказывал, что всегда просил у отца гармонь, но, видимо, у староверов это не одобрялось. Я купила своему сыну гармошку „Нотка“ и очень удивилась, когда отец взял в руки гармонь и заиграл. Когда я уходила на работу, отец часто играл внуку на гармошке, у сына был хороший слух, но учить дальше отец его не смог. Есть и балалайка. На ней отец тоже играл и пел частушки для внуков. Я купила балалайку в подарок на 9 Мая отцу».*

Очевидно, для Е. И. Михайлова исполнение частушек было прежде всего формой избывания одиночества, неким индивидуальным лирическим ритуалом. Вообще, личностные формы бытования частушек (в отличие от коллективных) выявлены и описаны очень плохо. Частушки могли петься в одиночестве, в сопровождении инструмента (гармонь, балалайка) и без инструмента, дома (когда никого нет), в дороге, в поле (например, когда исполнитель пасёт коров или делает ещё какую-либо работу один).

Для Е. И. Михайлова частушки были близкой и адекватной формой воплощения его личностных переживаний. В этом контексте характерен состав частушечного репертуара Михайлова. Вопреки устойчивым массовым (проникшим в научную и учебную литературу) представлениям о несерьёзном (комическом, игровом) характере частушки, чуть ли не как жанрообразующем начале, тексты в записи Е. И. Михайлова по большей части являются собственно лирическими, зачастую трагически осложнёнными по смыслу и по интонации приближающимися к причитанию. Исключительна рукопись Е. И. Михайлова и ещё по одному признаку: большое количество частушек мужского репертуара — пятьдесят два текста из ста тринадцати. Даже за вычетом восемнадцати текстов, тематически жёстко определённых (частушки «под драку» и рекрутские), тридцать четыре мужские частушки лирического характера из индивидуального репертуара — цифра для специалистов красноречивая.

В частушках почти нет примет советской эпохи. Псевдонародная идеологизированная частушечная культура появится позже, в 1930-е годы, после сплошной коллективизации. Да и, судя по всему, Е. И. Михайлов был чужд этим новшествам. В контексте судьбы спецпереселенцев советский жизне-радостный пафос звучит с горькой иронией:

*У гармошки планки медны,
Тонки, звонки голоса.
Расскажите всему свету
Про советски чудеса.*

Так и хочется «советски чудеса» написать в кавычках. Есть в рукописи Михайлова уникальный текст — частушка с «другой» стороны:

*Ты, товарищ, за свободу,
Я за старый за режим.
Я духанечку²⁰ застрелил,
Из нагана вышел дым.*

Сюжетная ситуация частушки поразительно напоминает трагическую любовную коллизию поэмы А. Блока «Двенадцать», историю Петрухи и Катьки:

*Что, товарищ, ты не весел?
Что, дружок, оторопел?
Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?
Ох, товарищи родные,
Эту девку я любил...
Ночки чёрные, хмельные
С этой девкой проводил...*

«Частушечная» рукопись Е. И. Михайлова может рассматриваться как единая «лирическая книга», воплощающая универсум переживаний русского крестьянина XX века. Два первых её текста звучат символически, задавая лирико-трагическую перспективу припоминания частушек:

*Что-то было сердце ныло,
Занывало день и ночь.
Перестало, нить не стало,
Значит, кончилась любовь.*

*Ты не ной, не ной, сердечушко,
Пожалуйста, не ной.
Обживусь, то будет весело
Без милого одной.*

Понятно, что сам Евгений Исаакович не исполнял все сто тринадцать текстов сразу, а исходя из собственного состояния, в каждом случае своего одинокого пения складывал из «мгновений переживаний», отражённых в частушках, разные композиции. Опираясь на эти механизмы воспроизведения частушек, рискну «сложить» на основе свода Михайлова свой «поток переживаний»:

*Раскудрявая берёза,
Ветру нет, а ты шумишь.
Ретиво моё сердечко,
Боли нет, а ты болишь.*

*Ой-е-ё, горе моё,
Сердечушко ретивое.
Нас угонят воевать
За морюшко за синее.*

*Дорожиночка на льдиночке,
А я на берегу.
Перебрось, милка, тесиночку,
К тебе перебегу.*

*Половина льдины двину –
Льдиночка на льдиночку.
Разве можно позабыть
Такую ягодиночку.*

*Мы с девчонкой пиво пили
Под двумя берёзами.
У нас пива не хватило –
Допивали слёзами.*

*Перестаньте, слёзки, капать
На мою на белу грудь.
Перестань, девчонка, плакать,
Свидимся когда-нибудь.*

*О-хо-хо, беда моя –
Ведёрки укатилися.
Тут ещё одна беда –
С девчонкой разлучилися.*

*О-хо-хо, ростанюшки,
Какие вы тяжёлые.
Из-за вас, ростанюшки,
Прошли деньки весёлые.*

*Из-за вас, высоки гороньки,
Сибири не видать.
Из-за вас, мои родители,
С девчонкой не живатъ.*

*Ты играй, гармонь моя,
Сегодня тихая заря.
Сегодня тиха зоренька –
Услышит чернобровенька.*

*Ты играй, я буду петь,
Товарищ, в балалаечку.
Говорят, что отнимают
У меня матанечку.*

*Две кукушки куковали
В полике на колике²¹.
Две девчонки тосковали
Обо мне, соколике.*

*Не кукуй, кукушка, в поле,
В полике на колике.
Не горюй, моя девчонка,
Обо мне, соколике.*

*Кому лес, кому дуброва,
А мне чисто полюшко.
Кому радость да веселье,
Мне, мальчишке, горюшко.*

Новый Завет

Семейной реликвией дома В. Е. Шестаковой является дореволюционное издание Нового Завета на церковнославянском языке. В контексте истории раскулаченных у книги символическая судьба. Вера Евгеньевна рассказала о ней в ответ на мой вопрос, не было ли книг в старообрядческой семье её отца: *«Книга есть у меня, у меня есть книга, которая прошла с ними... Видимо, прятали её, кто-то, может, вырывал из неё страницы. Евангелие... Она прошла с ними всю их... эту... [т. е. перипетии спецпереселенческой судьбы – О. Н.] И потом... много их [земляков Михайловых – О. Н.] тут было же. И Черепановы её увезли туда [на родину – О. Н.] с собой, восстановили всё, что там потеряно, страницы. И перед смертью она [А. Н. Черепанова – О. Н.] (папина подруга была хорошая)... она отправила отцу эту книжку в посылке, Евангелие»* (В. Е. Шестакова. Аудиозапись).

Книгу удалось увидеть. В ней было утрачено около трёх десятков первых страниц и приблизительно столько же последних. Текст восстановлен на основании издания Нового Завета на русском языке и записан крупным почерком на тетрадных листах. Листы обрезаны и подшиты к изданию; книга заново переплетена.

Не представляя существенной археографической ценности, Новый Завет с его исключительной судьбой — не только семейная реликвия, но и памятник культурного наследия спецпереселенцев. Книга сопровождала раскулаченных в их мытарствах и тоже пострадала (вырванные страницы). Воспринималась она, судя по всему, не как личная собственность или собственность семьи, а как общее достояние соратников по несчастью (словами Е. И. Михайлова — «побратимов»). Такое отношение к книге близко к средневековому: книга мыслится находящейся в вечности и не принадлежит кому-либо конкретно в земной жизни, при этом все имеют право через неё взаимодействовать с миром Божественных истин. Сказалось старообрядческое происхождение семьи Михайловых и, наверно, Черепановых. К старообрядческой традиции восходит и отношение к церковнославянскому языку как критерию подлинности книги, и императив восстановить книгу, дописав её от руки. Правда, реконструируется текст уже на основании русского перевода Нового Завета. Издание на церковнославянском в 1990-е годы было труднее найти, но русский текст фактически был доступен каждому.

Можно предположить, исходя из иной культурной логики, что Черепановы могли бы прислать книгу, как она есть, в повреждённом виде (без обложки и с вырванными страницами) — в память об общих испытаниях и несчастьях, а в дополнение — современное издание Нового Завета. Но в коллизии с книгой действительны более традиционные установки, что приводит к возникновению не собственно мемориальной, а особой ритуальной ситуации.

Книга не застыла как музейная реликвия, а живёт — восстанавливается, дописывается, подобно тому, как дописывали книги древнерусские писцы и старообрядцы-книжники (вплоть до конца XX столетия). В этом «повновлении» отчетливо виден, на мой взгляд, ритуальный смысл: трагическая

семантика, связанная с историческими и личными судьбами XX века и свойственная самой книге как артефакту, преодолевается. Книга в духовной своей ипостаси возвращается в вечность, а её существование в земной жизни становится полноценным. Тогда и следующее действие выглядит ритуально закономерным: «поновлённая» книга возвращается к людям, судьбы которых связаны с её судьбой и которые теперь принимают ответственность за её сохранение: *«Ну, она (А. Н. Черепанова – О. Н.) так и сказала: „Мне скоро умирать, я хочу, чтобы ты это сохранил“»* (В. Е. Шестакова. Аудиозапись).

Контекстом «книжной» коллизии является небольшое количество сведений о религиозности Е. И. Михайлова, сообщенных В. Е. Шестаковой. Согласно её рассказам, всё, что имело отношение к вере и церкви, тщательно скрывалось в советское время в масштабах как поселковой, так и семейной среды: *«Они даже здесь, когда приехали, они про церковь никогда не говорили, ни про какие веры не говорили». — «Даже дома?» — вопрос собирателя. «Даже дома, да. Никогда ничего не говорили. Во-первых, мама была у меня такой комсомольский вожак. <...> Они немножко <...> как бы не сошлись, в этом смысле. И поэтому не говорилось никогда»* (В. Е. Шестакова. Аудиозапись).

В 1990-е годы Е. И. Михайлов стал достаточно открыто проявлять свою религиозную позицию в семье и прежде всего по отношению к внукам. В письме Вера Евгеньевна так описывает отцовский «поворот» к вере: *«Особенно последнее время, когда я родила Диму, а потом его крестили, у отца проявилось то, что долго не давало о себе знать, он стал учить внука молитвам, стал читать Евангелие, а до этого читал „Слово о полку Игореве“, у меня оно на двух, так сказать, языках. Стал соблюдать посты и приучил Диму. Соблюдал праздники и говорил, что за день и почему его празднуют. Я покупала ему календари, литературу. Антон до сих пор говорит словами деда, хотя ему уже 23 года»* (В. Е. Шестакова. Письмо).

Интересно указание В. Е. Шестаковой на «выбор» Евгением Исааковичем «своего» внука, которого дед начинает воспитывать в соответствии со своей системой духовных ценностей. Упоминание в этом контексте «Слова о полку Игореве» позволяет задуматься об особой функции памятника древнерусской литературы в советскую эпоху. Фактически это был единственный широко известный и доступный массам текст на древнерусском языке, близком к церковнославянскому. Е. И. Михайлов, по своему старобрядческому происхождению, очевидно, умевший читать «по-славянски», использует памятник светской литературы для обучения внука сакральному языку.

И в заключение — пусть это будет слишком вольным наблюдением — но мне кажется, что памятники письменности из архива семьи Михайловых складываются в некий символический триптих, соотносимый с традиционной концепцией человеческой сущности: дух — душа — тело. «Опись имущества» даёт образ материального бытия; свод частушек в самозапи-

си — пространство переживаний и душевных состояний; Новый Завет с рукописными вставками символизирует духовный мир человека.

- ¹ *Коми-зыряне* — одна из основных этнических групп на Обь-Иртышском Севере, особенно многочисленна в Берёзовском районе Югры и на Ямале.
- ² *Забереги* — полосы льда, образующиеся у берегов реки в начале замерзания.
- ³ *Шуга* — мелкий рыхлый лёд, появляющийся перед ледоставом или идущий весной во время ледохода.
- ⁴ *Плашкоут* — самоходное грузовое судно с малой осадкой. Плашкоуты широко использовались на Обь-Иртышском Севере в 1930–1950-е годы в рыбной промышленности; одновременно — одно из основных средств передвижения для местного населения, тем более — для перевозки групп спецпереселенцев.
- ⁵ *Сойм (салма)* — пролив между материком и островами или между островами (берёзовский диалект).
- ⁶ *На гребях* — на вёслах.
- ⁷ *Целевые талоны* — использовались в 1930-е годы в Сибири, в районах с преимущественно промысловым типом хозяйства (охота, рыболовство) для оплаты труда колхозников.
- ⁸ *Колданка* — в Берёзовском крае долблёная лодка с наращёнными бортами. Название от народного термина «колдан» — плавная сеть, представляющая собой мешок из сети, прикреплённый к длинному шесту.
- ⁹ *Наваринка* — (станция Наваринская), основана в 1842–1843 годах как опорный пункт Оренбургского казачьего войска на новой пограничной линии. Название дано в память знаменитого морского сражения 20 октября 1827 года в Наваринской бухте у греческого порта Наварин между соединённым флотом России, Англии и Франции, с одной стороны, и турецко-египетским флотом с другой.
- ¹⁰ М. С. Пестрякова приводит широко бытующее в казачьих поселениях юга Челябинской области предание: «Среди местного населения <...> в больших казачьих посёлках сохранилось предание о переселении на новые земли: будто бы казаков переселили столь стремительно, что некоторые семьи „не успели даже вынуть хлеб из печи“. Скорее всего, это ещё одна легенда. Казаков не могли „выгнать“ на линию почти два года» (см.: Рыбалко А. А. История и быт казаков Новолинейного района. Этнографический очерк // Аркаим. Исследования. Поиски. Открытия. Челябинск, 1995. С. 123).
- ¹¹ *Поднавес* — навес на столбах.
- ¹² *Овчарник* — хлев для овец.
- ¹³ *Загон* — задняя часть открытого двора, выполняющая функции скотного двора. Загон противопоставлен ограде — передней, чистой, парадной части двора.
- ¹⁴ *Завозня* — большой амбар без сусеков (закромов для зерна), предназначенный для хранения средств передвижения, сбруи и т. д.
- ¹⁵ *Кошева* — высокие сани, кованые железом, с улучшенным кузовом и спинкой, предназначалась для выездов, в том числе праздничных (объезд деревень по престольным праздникам) и ритуальных (свадьбы).
- ¹⁶ *Ходох* — летняя повозка для выездов.
- ¹⁷ *Вырезка* — местный термин, обозначающий резьбу.
- ¹⁸ *Щеблеты* — штиблеты.
- ¹⁹ *Доха* — верхняя зимняя мужская и женская одежда, шилась мехом наружу; использовалась как дорожная одежда. Собачья доха считалась самой тёплой зимней одеждой.
- ²⁰ *Духанечка, духанька* — южноуральский и сибирский вариант наименования лирического персонажа частушек. В частушках Михайлова встречаются также: милка (милочка, милашечка), ягодиночка (ягодинка), матанечка.
- ²¹ *В полике на колике* — колок, лес среди поля.